

## *Из будущих книг*

### **Андрей РУБАНОВ**

Родился в 1969 году в селе Узуново Московской области. В 1982–1991 гг. проживал в городе Электростали. Учился на факультете журналистики МГУ. Работал корреспондентом многотиражной газеты, строительным рабочим, шофёром, телохранителем, занимался предпринимательской деятельностью.

В 1996 году был заключён под стражу по обвинению в мошенничестве. В 1999 году полностью оправдан. В 1999–2000 гг. жил в Чечне, где работал пресс-секретарем первого заместителя полномочного представителя правительства РФ в Чеченской республике.

Дебютировал как прозаик в 2005 году. Автор нескольких романов и сборников рассказов в жанре автобиографической прозы (или «нового реализма»), а также фантастики в жанре биопанк. Финалист премий «Национальный бестселлер», «Большая книга», «АБС-премии». Книги переведены на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, сербский и болгарский языки. Лауреат премии «Ясная Поляна» за роман «Патриот» (2017). Живёт в Москве.

### *Из книги «ЛЕДЯНАЯ ТЕТРАДЬ.*

### *Комментарий к Аввакуму» (фрагменты)*

#### Часть 4

#### 1. Необходимое предуведомление

Здесь впервые будут опубликованы избранные места из воспоминаний Константина Васильевича Рубанова (1911–1996), директора Узуновской средней школы, заслуженного учителя РСФСР. Воспоминания написаны в 1986 году.

Я был единоличным владельцем этой рукописи на протяжении 35 лет. Более того, именно я и уговорил своего деда написать воспоминания.

В том же, 1986 году я – тогда школьник, десятиклассник – расшифровал первые главы рукописи и сделал машинописный вариант, 35 страниц. Работал на печатной машинке, сильно изношенной, списанной из бюро проката и выкупленной за 9 рублей.

Затем я ушёл служить срочную службу в Советскую армию, а когда вернулся – меня поглотили совсем другие идеи и замыслы. Рукопись деда была отложена в дальний ящик до лучших времён.

Закончились 80-е годы, прошли 90-е. Рукопись деда хранилась надёжно, но что с ней делать – я не понимал. Будь я в благополучной ситуации –

рукопись следовало отдать наборщику для расшифровки, а затем издать брошюрой, тиражом в 50 экземпляров – и раздарить многочисленным родственникам. Тогда ещё живы были все трое детей деда Константина: мой отец Виктор, тётка Надежда и дядя Евгений. Но благополучная ситуация всё никак не возникала. Я отсидел в тюрьме, затем долго и непросто налаживал жизнь, затем опубликовал первый роман, второй, третий – но как быть с мемуарами деда Константина, не имел понятия. Мне казалось, что рукопись имеет ценность исключительно как частная, семейная хроника.

Меня пожирали амбиции. Я полагал, что если опубликую рукопись деда, то уроню свой масштаб, и критики скажут: «глядите, Рубанов кончился, ему не о чем больше писать, он публикует мемуары родственников».

Прошло ещё 15 лет. Я кое-чего достиг в направлении художественной автобиографии, сочинил романы и сборники рассказов, гордо объявил себя последователем Лимонова и Довлатова. Но однажды рамки автофикшна показались мне тесными. Я оказался вовлечён в написание киносценариев на темы древней и новейшей истории России. Я выпустил два романа на те же темы. Я советовался со многими профессиональными историками, и они сказали мне: «В исторической науке главное – изыскать уникальное свидетельство, находку; воспоминания очевидцев, особенно подробные и литературно оформленные, имеют такую же значительную, первостепенную ценность, как и архивные документы».

На основе рукописи вашего деда, сказали мне историки, можно написать серьёзную монографию или использовать текст для диссертации.

Но и тогда я не очень понимал, что делать с рукописью деда Константина: пока не наступил 2020-й, год 400-летнего юбилея Аввакума, пока я не загорелся идеей создать большой документальный фильм о нём.

Когда стало ясно, что с фильмом ничего не получится – остался только один вариант: написать книгу.

Книгу я писать побаивался: ответственность слишком велика.

Практическую идею, ключ к книге – дала мне Аглая Набатникова, кинорежиссёр, писатель и моя единомышленница. Именно она подсказала формат. Не пиши книгу про Раскол, не пиши про Аввакума, сказала мне Аглая Набатникова. Такие книги уже есть. Напиши комментарий к книге самого Аввакума.

Не пиши про него; пиши, отталкиваясь от него.

Написание любой книги, создание фильма, сериала, спектакля, симфонии, песни, танца, скульптуры – прежде всего требует ключа, особенного художественного способа высказывания. Как рассказывать, для кого, каким языком, в какой форме, насколько подробно? Поиск ключа к повествованию – исходный момент для начала работы. Аглая Набатникова дала мне ключ, им я открыл дверь, ранее запертую.

Очень кратко, сберегая время и внимание читателя – а я благодарен ему за то, что он добрался до этих строк, – мне следует сообщить, кто таков был мой дед Константин Васильевич Рубанов.

Родившись в 1911 году в старообрядческой колонии, в заволжских лесах, он пережил революционные потрясения, будучи подростком и юношей. В начале 30-х он перебрался в Москву и поступил на исторический факультет Московского университета.

В 1934 году, в день убийства Сергея Кирова, он и его однокурсники, ничего не зная о свершившейся трагедии, устроили в общежитии вечеринку. На участников вечеринки донесли в ОГПУ, и деда исключили из университета.

ОГПУ расследовало анкету деда, и оказалось, что он скрыл своё кулацкое происхождение. Семья деда в конце 20-х была раскулачена. Его мать

получила статус лишенки – её лишили гражданских прав, она не могла избирать и быть избранной. Самой ей этот статус никак не мешал, – но сыну очень повредило.

Клеймо кулацкого сына, сына лишенки, преследовало моего деда все 30-е годы.

Далее дед жил в Москве и работал на стройках. Воевал в финскую кампанию, затем в Великую Отечественную. Боевых наград не имел. Был ранен, контужен и комиссован. После войны стал директором детских домов, затем директором школы. Изобрёл систему трудового обучения: дети работали в колхозе, колхоз платил деньги школе, на эти деньги школа приобретала учебное оборудование, оплачивала поездки учеников по всей стране. Система трудового обучения казалась властям подозрительной: дед трижды был под следствием.

Далее дед добился строительства школы в селе Узуново. Школу построили в 1965 году: огромную, в три этажа. Учеников свозили автобусами со всего района.

Я учился в этой школе с первого по шестой класс. Дед был директором школы на протяжении 20 лет.

Дед женился на крестьянской девушке Марии Борисовне, в девичестве – Удачиной. Мы все звали её бабушка Маруся.

Она работала учительницей начальных классов, но главное её призвание было – земля, крестьянский труд.

Младший сын Константина и Марии – Виктор, мой отец, – преподавал в этой же школе физику.

Жену Виктора звали, как героиню Булгакова, Маргарита Николаевна. Она преподавала музыку, русский язык и литературу.

В 1969 году Виктор и Маргарита родили меня, их старшего сына.

Систему трудового обучения дед продвигал упорно и последовательно. Его школа была баснословно богата. Свои автомобили и трактора, спортзал, лыжная база, стадион, футбольное поле и хоккейная площадка, стрелковый тир (его строил мой отец), деревообрабатывающие и металлообрабатывающие мастерские, театральные кружок, оркестр, теплица, фруктовые сады.

Большинство учителей, в том числе моя семья, жили рядом со школой в так называемом «учительском доме», двухэтажном, на восемь одинаковых двухкомнатных квартир. Внутри этого уникального космоса я обретался много лет. Я дул во все валторны и дёргал рычаги всех тракторов. Как внук директора школы я имел доступ во все уголки обширного хозяйства. Мне всё позволяли. Детство моё было лучше, чем у Набокова: изумительно счастливейшее.

Главным сокровищем школы я полагал библиотеку, пропал в ней целыми днями. Библиотека, не стеснённая в средствах, выписывала все центральные журналы, вот их неполный перечень: «Юный техник» (хит), «Юный натуралист», «Радио», «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Техника – молодёжи» (суперхит, с картинками), «Моделист-конструктор», «Юность», «Огонёк» (суперхиты).

Дед был завзятым, азартным путешественником. Раз в месяц, а то и чаще, в колхозе арендовался автобус, дети ехали в Москву, в музеи, в театры, в цирк.

Есть семейный апокриф, как десятиклассники Узуновской школы на автобусе выехали в Москву, в Большой театр; дело было зимой, дети явились на представление в валенках, в самовязанных свитерах, фужайках и штанах с начёсом. Они заняли целый ряд, а перед ними – сели знатоки балета, кланеры, поклонники талантов балетных солистов. Как только тот или иной

танцор выдавал сложное па, фуэте или прыжок – клакеры вскакивали, аплодировали и кричали «браво!». Десятиклассникам Узуновской школы, обутом в валенки, это не понравилось, они стали хлопать клакеров по плечам и вежливо уговаривать:

– Слушай, друг, давай не шуми, не мешай смотреть представление!

Тут надо понимать, что узуновские десятиклассники, 16-летние, уже были широкоплечими половозрелыми усатыми парнями, дискутировать с ними никто не захотел.

Дед Константин и бабка Маруся родили троих детей: Евгения и Надежду (двойня) и младшего Виктора (моего отца).

Оба сына обладали большим инженерным талантом. Старший, Евгений, уехал в город Горький (Нижний Новгород), окончил кораблестроительный факультет и работал в конструкторском бюро, создавая суда на подводных крыльях.

Младший, Виктор, тоже хотел пойти по пути старшего брата и уехать в город Горький, и стать корабелом, но не вышло: родился я. Моё появление на свет поломало планы Виктора. Он отказался от амбициозных идей, остался в Узунове, работал в школе под началом моего деда. Но инженерный талант никуда не делся. Кабинет отца был оборудован по последнему слову техники. Нажатием кнопки сами собой сдвигались светонепроницаемые шторы; нажатием второй кнопки опускался экран, и ученики наблюдали фильмы.

Рядом со школой отец обустроил автомастерскую и в ней собрал с нуля автомобиль с передним приводом и полностью алюминиевым кузовом, не подверженным коррозии. Я поездил на этом автомобиле; сохранились фотографии.

Дед создал в своей школе – и в семьях своих детей – уникальную атмосферу, её можно определить формулой «пожирание знаний и абсолютное всестороннее развитие личности».

Поощрялись все инициативы. Стимулировались любые творческие поползновения. Если ты хотел рисовать, музицировать, крутить гайки, сажать растения, пинать мяч – тебе обеспечивали все условия.

Сыновья и дочери доярок и пастухов получали возможность играть на гитаре и на барабанах, участвовать в спектаклях, петь в хоре, водить грузовик, стрелять из винтовок, паять радиоприёмники.

Так и я сам вырос; мне дали всё. Я читал журналы и книги, играл в хоккей и футбол, бегал на лыжах, стрелял в тире, ухаживал за кроликами и курами, покупал пластинки с песнями группы Стаса Намина.

Дед Константин был убеждённым сторонником главного принципа социалистической педагогики: коллектив учителей создаёт коллектив учеников и с ним работает.

Все учителя Узуновской школы образовывали единое целое, вместе отмечали праздники, дни рождения, все пережились меж собой, – к концу 70-х годов создали почти секту, работавшую на благо детей. Сейчас я понимаю, что речь идёт о сельской интеллигенции классического Некрасовского извода: народники. Неларом моя мать любила Некрасова и цитировала его страницами.

Интересно, что в среде учителей школы никогда не было никаких антисоветских настроений. Никто не знал, что такое самиздат. До нас, провинциалов, он просто не доходил. «Голос Америки» и «Русскую службу Би-Би-Си» мой отец начал слушать только в 1982 году, когда моя семья переехала из Узунова в город Электросталь.

Каждый год в школу набирали два новых класса, каждый примерно по 25 детей. Всего под руководством деда в школе с первого по десятый класс

было выучено около 2 тысяч детей. Все они, за редким исключением, получили высшее образование.

Когда дед умер, в 1996 году, – почти все они приехали его хоронить, с разных концов страны. Поминальный банкет – а я сам на нём присутствовал – превратился в праздник. Люди, не видевшие друг друга десятилетиями, плакали и братались. Таких весёлых или даже буйных поминок с тех пор не помню.

К началу 80-х годов (мне исполнилось 11, 12 лет) дед Константин превратился в дона Корлеоне, авторитетнейшего главу клана, состоящего из трех детей и шести внуков. Весь клан активно гужевался вокруг деда. Дети брали у него деньги, внуки тырили книги из его библиотеки. Внуки смотрели на деда как на титана.

Развал СССР, ликвидацию социализма и утверждение нового русского капитализма в конце 80-х и начале 90-х дед Константин не понял и не принял. Ему было уже под 80.

Он дожил до правнука: моего сына Антона, 1995 года рождения.

Здесь можно прочувствованно заявить об «эстафете поколений», но на деле, думаю, нет никакой эстафеты. Наследование признаков происходит непрямым способом. Иначе все потомки Петра Первого были бы, как и сам Пётр, столь же великими преобразователями.

Дед страстно любил путешествовать. В поездки он обязательно брал с собой внуков.

О войне дед рассказывал очень мало и неохотно.

Дед не употреблял алкоголь и приучил к трезвости детей. В середине осени моя мать покупала бутылку водки и ставила её в холодильник. Водка нужна была, чтобы растирать ноги детям, мне и моей сестре, если, шастая по окрестностям, мы проваливались в какой-нибудь ледяной ручей. Постепенно водка выдыхалась, через год покупалась новая бутылка.

В 1980 году дед ушёл на отдых, директором Узуновской школы стала моя мать Маргарита Николаевна Рубанова.

Семьёй управляла мать Маргарита, женщина исключительного ума и силы воли. Отец сознательно уступил ей лидерство. Больше всего на свете он любил работать руками. Закончив трудовой день в школе, он отправлялся в мастерскую или в гараж и там пропадал до ночи. Затрудняюсь сказать, каким ремеслом он не владел. Может быть, стеклодувным? В совершенстве знал электромонтажное дело. Если буря валила столб с электропроводами – отец отправлялся чинить. Токарные работы – по дереву – отец считал забавой. Слесарными навыками – по металлу – обладал во всей полноте. Варил газом и электросваркой. Имел все навыки, связанные со строительством. За жизнь отец возвёл от фундамента до крыши несколько десятков домов, сараев, гаражей, амбаров, бань, заборов, теплиц. Построил как минимум один стальной мост. Асфальтировал дороги. Водил трактор, мотоцикл, автомобиль, снегоход.

Зато был совершенно равнодушен к сельскому хозяйству, не любил обрабатывать землю и возиться с животными. Любил только технику.

Не помню, в какой момент у меня возникла идея уговорить деда написать воспоминания. О детстве и юности дед часто рассказывал. Все знали, что он родился в колонии старообрядцев, неподалёку от города Павлово-на-Оке. Не знаю, верил ли он в Бога, – если верил, то тщательно скрывал. Икон, молитвенников и Библии в доме не держал. Советский педагог, вдобавок директор школы и член КПСС, о таком не мог и помыслить. Но если дед отправлялся в путешествие и видел действующую церковь – обязательно

заходил полубобытствовать. Однако не помню, чтобы он проповедовал научный атеизм.

В годы советской власти старики не писали мемуаров и воспоминаний.

В очень ограниченном количестве выходили только военные мемуары военачальников, генералов, – приглаженные, тщательно проверенные цензурой, они публиковались в специализированных издательствах: Политиздат, Воениздат. Простые граждане – такие, как мой дед, – и не мечтали о публикации своих биографических сочинений. Человек мог написать хоть тысячу страниц, – но что делать дальше? Можно распечатать на пишущей машинке. Однако самиздат пребывал под негласным запретом. Копировальные машины – сейчас мы называем их ксероксы – все ставились на учёт в КГБ.

Люди умные, думающие – всё это знали. Напишешь – в лучшем случае можно сделать три или четыре машинописных копии, кустарно переплести и раздать друзьям. Но что дальше? Друзья дадут почитать приятелям, кто-нибудь сообщит в райком, а вдруг в тексте найдутся неуважительные отзывы о деятельности партии и правительства? Или, не дай бог, критика?

И, конечно, создание мемуаров, воспоминаний и семейных хроник рядовыми гражданами страны в этой концепции не было предусмотрено. А вдруг граждане начнут вспоминать и описывать репрессии? Коллективизацию? Лагеря?

Вот почему мой дед Константин, коммунист, директор школы, заслуженный учитель, не писал воспоминаний. Он взял в руки авторучку только в 1986 году, когда у руля партии и государства встал Горбачёв, когда стало ясно, что времена изменились.

Вот какова подоплёка появления воспоминаний моего деда Константина.

Пока он возглавлял школу, пока отвечал за судьбы многих сотен учеников и своей семьи – он не хотел рисковать.

Я не историк и никогда не хотел им быть, но я имею интуитивное понимание, что свидетельства Константина Рубанова уникальны и как минимум заинтересуют читателя обилием любопытных деталей. Здесь будут приведены только первые две главы, приблизительно одна пятая часть всего текста рукописи, относящиеся к периоду 1911–1927 гг.

Стиль деда я нахожу превосходным. Лапидарным, упругим и точным. Говорил он точно так же: коротко и ясно, без лишних слов. В школе дед преподавал историю и литературу, но его уроки я не посещал. Когда я пошёл в первый класс, в 1976 году, деду было уже 65 лет, я смотрел на него как на полубога. Двигался он медленно. Коренастый, среднего роста, широкоплечий, круглая голова. Красивым я бы его не назвал. Лицо сухое, бледное, без губ. Он был немного похож на маршала Жукова. Голос негромкий, скрипучий. Носил всегда пиджачную пару и рубаху, иногда с галстуком, иногда без.

По большому счёту для меня он так и остался загадкой. Он никогда громко не смеялся, не пел песен, не танцевал.

Однажды в начале 80-х мы ехали с ним в очередное путешествие, уже не помню куда, в плацкартном вагоне, и меж пассажиров разразилась гадкая ссора, по пустяковому поводу. В путешествие дед обязательно надевал пиджак с наградными планками. Боевых наград он не имел, но после войны удостоился нескольких юбилейных медалей. И вот в разгар вагонного скандала, дед, в пиджаке с планками, встал и глядя на зачинщика скандала, мужчину, произнёс: «Товарищ, немедленно прекратите, иначе заработаете пощёчину». Скандалисты стушевались и угомонились.

В другой раз, в другом путешествии, и снова в плацкартном вагоне, пассажиры выпили лишнего и затеяли дискуссию, и кто-то выкрикнул, что Советский Союз – страна пьяниц. Дед перехватил общее внимание и спросил:

– А кто построил вагон, в котором вы едете, – пьяницы? А кто создал страну? Кто запустил Гагарина в космос – пьяницы? Кто построил Днепротэкс – пьяницы?

Вообще он был сильный спорщик, – но при мне дискутировать с ним всерьёз никто не отваживался.

Но вспоминать о нём подробно я не хочу; лучше напишу когда-нибудь художественную повесть.

А его собственная повесть – вот она.

## 2. Жизнь и быт нижегородских старообрядцев в начале XX века.

### Отрывки из воспоминаний К.В. Рубанова

Село Селитьба – от слова селить. От ближайшего города Павлово-на-Оке оно отстоит на 35 вёрст, от ближайшей железнодорожной станции 28 вёрст, от ближайшей большой реки Оки 35 вёрст. Расположено в глухом лесном массиве. Основалось во времена гонения старообрядцев (1680–1725 годы), когда большая группа старообрядцев бежала из Самарской губернии в леса, подальше от царского ока. Это рассказал мне мой дед.

Село расположено в распадке между двумя большими возвышенностями, поросшими лесом. С востока – большая пойма, где течёт река Палинка. С запада сразу же за селом – густой сосновый и еловый лес.

Село в бытность мою было большим, растянутым в одну улицу почти на два километра. Один конец улицы упирался в лес и звался «опарихой», другой выходил в пойму и назывался «конец». На пойме косили всем обществом траву на корм скоту.

В селе имелись три церкви. Первая деревянная старообрядческая, называли её «зимней», позднее рядом поставили каменную, «летнюю», к ней примыкало кладбище. Среди села стояла третья, православная церковь. Теперь все три церкви разрушены до основания.

В селе до революции заправляли фабриканты средней руки братья Седовы. Они построили маленькую фабричку и два кирпичных дома. Кирпич выжигался недалеко, в полукилометре от стройки.

Другие фабриканты, Теребины, тоже братья, торговали топорами, долотами, плотницким инструментом. В Селитьбе у них было как бы отделение, а завод (небольшой, по нашим понятиям) был в Павлове.

Прочую торговлю осуществляли Папулины.

Население занималось в основном ремеслом. Сельское хозяйство было развито плохо: земля песчаная, да и той было мало. Своего хлеба хватало на половину зимы, потом его приходилось привозить из Павлова и Арзамаса (он был далеко, в 50 верстах, но хлеб там продавали дешевле).

Картофель, однако, родился хорошо, и хватало его на весь год.

Все хозяйства имели лошадь, корову, овец, кур. В период уборки урожая, заготовки сена месяц-полтора ремеслом не занимались, фабрики и кузни вставали «на отдых».

Но главным делом оставались ремёсла.

В кузницах ковали топоры – это очень тяжёлый труд. Работали по трое: мастер, молотобоец и горновой. Мастер стоял у горна с клещами и малым молотком. Пластину надо было согнуть по форме топора и сварить огнём. При сварке куют все трое: мастер молотком указывает, куда ударить молотом молотобойцу. Второй ответственный момент: на конец острия топора приваривается другой металл – сталь. Тут тоже куют все три кузнеца,

в том числе горновой, который всё остальное время стоит у мехов. Самая тяжёлая работа – у молотобойца, он куёт всё это время без перерыва. Мастер «играет» только «ручником» (лёгким молотком) и клещами.

«Урок», как тогда называлась норма, – 16 топоров за день. Работа и зимой, и летом начиналась в три часа утра. Сварят 16 топоров – идут домой завтракать. Потом опять в кузницу, отделявать топоры начисто. Затем их поштучно, с проверкой качества, сдают приёмщику. Брак никогда не проходил. После этого надо было из полосового железа нарубить заготовки – «пластухи», заготовить древесный уголь и отнести всё это в кузницу. На этом рабочий день заканчивался (это примерно два часа дня), и кузнецы обязательно шли спать часа два-три.

Другим основным ремеслом была работа в лесу. Валили лес на вывоз для постройки домов, на распиловку в лесопилке, на выжиг древесного угля, на дрова и т. п. Отходов практически не было, только ветки, да и те сжигали – лес должен быть чистым.

Позднее приспособились добывать из сосны серу: называлось это «подсечка». На сосне делалась продольная полоса, сдиралась кора, внизу прикреплялся железный козырёк, куда стекала сера-живица. Женщины собирали её в вёдра.

Из сосновых корней и сучков вытапливали (гнали) дёготь для смазки осей и других трущихся частей у телег.

Из привезённых из леса брёвен выжигали древесный уголь, его нужно было много дляковки топоров – на норму «куль». Кули вязались из липовой рогожи и ёмкостью были примерно два мешка. Драть липовое лыко для выделки рогожи и плетения лаптей – это тоже было ремесло. В лаптях, кстати, ходили на работу все взрослые и дети. Рабочей обуви удобнее лаптей я никогда не встречал.

Для детей, женщин и старух было ещё одно занятие: драть из ивняка корьё для дубления при выделке кож. В селе были специальные люди – приёмщики, которые это корьё принимали и тут же расплачивались деньгами. Это очень прельщало, особенно детей: с 10 лет они уже имели свои гроши. Старухи этим зарабатывали на соль и керосин. Правда, таскать из леса «товар» было тяжело – корьё в лесу связывалось, как сноп, взваливалось на плечи. . . Волокли его много, потом оно отправлялось в город Богородск, где находились кожевенные заводы.

Свою копейку подростки могли заработать и на очистке от коры сосновых и еловых брёвен, и на прочистке леса от частой посадки, мелкой поросли (деньги платило лесничество), и на сборке еловых и сосновых шишек на семена.

Наконец, многие хозяева занимались извозом: возили брёвна на лесопильню, в город на стройку, из города везли товары в лавку.

В селе работы хватало всем. К тому же многие промышляли на стороне: печниками, кровельщиками, плотничьими артелями.

Из села не уходили. Да и сейчас не уходят. Селитьба отнюдь не опустела.

Если кто заинтересуется, может почитать «Павловские очерки» Короленко. Всё описанное там я видел своими глазами и в этом участвовал: рано утром, когда ещё не рассвело, в помещении или на улице садился скупщик; к нему образуется очередь кустарей, каждый со своим товаром. Протягиваешь вещь (топор, долото, нож, замок) и говоришь только одно слово: «рука». Если отвечают «нет», бежишь к другому. Если называют цену, оставляешь образец скупщику, а как рассветёт, несешь или везешь весь товар и получаешь деньги.

Почему я так много говорю о промыслах в деревне?



Я сам так работал – где под руководством отца, деда, где самостоятельно. Деньги имел свои, никому не отдавал. Помню, однажды к Пасхе купил себе ботинки и галоши.

С 9-10 лет собирал в лесу шишки и таскал в лесничество на семена, потом драл и таскал корьё, лыко, скоблил брёвна. Помню, прочищал лес и стёр себе руки до кровавых мозолей, а мне заплатили меньше моих товарищей, и я плакал от обиды.

Годам к десяти я и племянник мой уже помогали отцу на кузнице. Отец ковал топоры, был за мастера; молотобойцем был дед. Мы вдвоём качали меха, бегали за водой. Работали попеременно, но всё равно было очень тяжело, и норму «уроку» – отец с дедом не выполняли, хотя вставали так же рано, в три часа утра. Тогда я ещё не ковал, хотя от начала до конца присутствовал при ковке.

Кроме того, мы с дедом гнали дёготь, жгли уголь и возили в город на продажу. Под руководством деда я выполнял всю крестьянскую работу: пахал, сеял, боронил, косил, возил сено и навоз; под руководством дяди Ивана возил брёвна на лошади за 25 вёрст. Дядя Иван был участником Крымской войны, у него не было одного глаза. Мы с ним были приятели.

К этому времени мне уже было 16 лет. Я уже бегал к девкам и тайком курил.

Я не чурался никакой работы. В мастерской стоял у станка, делал карабины к поясам для электромонтёров – лазить на столбы. Детский заработок мой не отнимали, я всегда имел свои деньги и очень гордился перед девками.

А руководил мной большей частью мой товарищ, наш сосед по домам Рубанов Константин Степанович. Мы с ним были одного года, только он Степанович, а я Васильевич. Он был очень ловким парнем, трудолюбивее меня и ловчее во всех делах: он умел плести лапти, а я – нет; он стал молотобойцем, ковал топоры – а я не научился; он рано, в 17 лет, женился – а я опоздал на 10 лет. . .

Мы вместе воевали в Финляндии. Он там погиб, а я живу до сих пор.

Сейчас очень много говорят о свободном времени, о проблеме свободного времени у молодёжи: куда его девать и как использовать. В моё время в деревне этот вопрос никогда не стоял. Я прожил 75 лет – и мне всегда не хватало свободного времени, я никогда, ни одной минуты в жизни не скучал и не знаю, что это такое, до сих пор.

Надо иметь в виду: в деревне моей электрического освещения не было, радио не было, книг не выписывали, газет не выписывали – отец, мать, дед и бабушка были абсолютно неграмотны.

Помню некоторые моменты с трёх лет.

В любое время года, как только рассветёт, бабушка кормит нас завтраком – я говорю нас, потому что детей в семье было пятеро: я – с 1911-го, сын моего брата Ивана Александр – с 1911-го, другой сын Виктор – с 1915-го, и дети другого моего брата Фёдора – Клавдия – с 1913-го, Николай – с 1916-го.

(Мать родила Константина в 52 года, когда её старшие дети уже были взрослыми, женились и родили собственных детей; Константин рос вместе с племянниками. – *А. Р.*)

Так вот, бабушка кормила нас, потом нас наскоро одевали и выпихивали на улицу. До ночи нами никто не интересовался. Обедали, когда сами прибежим. Весь день мы были предоставлены сами себе. Утром к нам присоединялись соседские дети – и шла у нас своя жизнь.

Весной, как только растает на возвышенностях – играли в лапту, в чижика, в прятки-похоронки, строили дома из песка. Чуть потеплело – ловим корзинами-плетёнками и бреднями рыбу в речке – кто во что горазд. Ловились пескарки, щурята, налимы.

Каждый день бегали в лес, благо он был близко. Собирали цветы. Часто брали из дома сырой картофель и пекли его в золе; пекли и рыбу, если была.

Летом весь день купались в пруду; он был мелкий, по плечи, и очень тёплый. В хорошую погоду полоскались весь день: купались по 15-20 раз, до посинения («кто кого перекупается»). Удовольствие было исключительное. Никто из взрослых ни разу не приходил посмотреть, что мы делаем и всё ли в порядке.

Поспевали ягоды: сначала земляника, затем ежевика, черника, брусника, малина, костяника... Снова мы пропадали в лесу, с утра до вечера. Взрослые тоже ходили по ягоды, но по воскресеньям и в дождливую погоду.

Позже подходили грибы. На заготовку грибов, как правило, ездили всей семьёй и привозили телегами. Сушили грибы на печи и в ней. Солили много, бочками: грузди, рыжики, маслята, сыроежки.

В деловую пору (сенокос, уборка хлебов) дети, начиная с 6-7-летних, уже были помощниками: ворошили сушившееся сено, приносили в поле воду, завтрак и обед. Самые маленькие отгоняли от лошадей мошкарку, слепней и комаров. Все дети были чем-то заняты с утра до вечера. Иногда к концу дня так уставали, что вечером кусок застревал во рту; не успеешь проглотить, как мать уже тащит «жениха» в кровать.

Работали все. А нет работы – играли в разные «взрослые» игры: разбивались на две партии, брали четырёхгранные деревянные палки и деревянный шар: один его подбрасывал, другой ударял палкой, и он далеко улетал, вторая команда должна была его поймать и «осалить» противника. Играли в футбол – мячом, набитым тряпками или сеном. Такой мяч не прыгал и не катился. Играли по всем правилам, но босиком.

Кстати, как мы весной разувались, так до поздней осени никакой обуви не надевали. За лето пятки превращались в плотные «копытца», а выше всегда были цыпки. Матери время от времени их легонько отмывали и мазали маслом, а ты благим матом ревел.

...Лет с 12 мы уже ходили на посиделки.

Летом за домом выбиралось место у брёвен, заготовленных для постройки, или у амбаров. Вечером там собирался кружок мальчиков и девочек одного возраста – человек 10–20. Организовывались игры, а если был гармонист – пели частушки и плясали. Таких кружков в селе было около десяти. Парни вместе с гармонистом ходили от одного кружка к другому. Было всегда весело; драк и спор между парнями не было. По домам расходились поздно.

Поздней осенью и зимой девушки того же кружка снимали у какой-нибудь одинокой женщины просторную избу с условиями: привезти дров, избу натопить, на керосин для лампы-десятилинейки деньги собрать. После ужина девки приходили в этот дом, причём каждой мать давала «урок» – на прясть из льна столько-то пряжи или что-то связать. Они приносили с собой подушки и одеяла и здесь ночевали на соломенных матах.

Вечером сюда приходили парни целыми компаниями: пели песни, плясали, рассказывали сказки, анекдоты, играли, не мешая девушкам рукодельничать. Уходила одна компания – приходила другая. Парни за вечер обходили 8-10 домов.

Это лучшее время юности в деревне.

Одевались все в лучшее, что у них было, но не стеснялись любой одежды, лишь бы была чистой.

Самое весёлое время наступало под Новый год – на Рождество, Крещение. Накануне праздника устраивали гадание, игры, жгли большие костры, а ночами весь народ от мала до велика выходил на улицы. Две недели от Рождества до Крещения – святки – гуляли, озорничали целыми днями. Днём по улице ходили ряженые, рядихи; вечером они ходили по всем посиделкам.

Наряжаясь, проявляли очень много выдумки – чтобы не узнал никто, потому что по посиделкам ходили ряжеными не только молодые парни и девки, но и пожилые «любители», чаще всего отцы и матери: смотрели невест и женихов для своих детей. Девушкам приходилось особенно трудно: их «испытывали», смотрели, какова она в работе, старались испытать характер (вырывали рукоделие из рук, поджигали лён или пряжу, вообще всячески мешали). Девушки ко всему этому были готовы и старались только улыбаться; редко кто не выдерживал и начинал нервничать (тогда от неё сразу отходили).

После Крещения до Масленицы недель пять или шесть были одна за другой свадьбы, «девишники», «мальчишники».

После Масленицы наступал Великий пост (семь недель). Период развлечений кончался. Правда, после революции открыли «Народный дом», – красный уголок и клуб, но он всегда был неудобным, холодным, и молодёжь туда ходила только тогда, когда привозили кино, а это было очень редко. Центр уезда находился за 35 километров, кинопередвижка на лошади обслуживала очень много сёл и деревень, и кино привозили в месяц раз или два. Гораздо чаще проводились собрания.

Забыл сказать, что вся молодёжь ходила в церкви: или в старообрядческую, или в православную, или в «моленные» секты.

Вот в такой среде я жил и воспитывался до 16 лет, пока не ушёл из дома в 1927 году, имея за плечами четыре класса школы.

### Семья.

Семья наша, как я себя помню с трёх лет, состояла из 14 человек: дедушка Дмитрий Прохорович; бабушка Пелагея Ивановна; отец Василий Дмитриевич; мать Ирина Петровна; брат Иван Васильевич; его жена Анастасия Ивановна; их сын Александр Иванович; второй брат Фёдор Васильевич; его жена Вера Николаевна; их дочь Клавдия Фёдоровна; их сын Виктор Фёдорович; их сын Николай Фёдорович; сестра Анна Васильевна; и я, Константин Васильевич.

При мне все жили единой семьёй до 1927 года, а потом вдруг как-то стали распадаться... Но всё по порядку.

Сколько себя помню, уклад семьи был таков: главой семьи был отец, хотя жив был и дедушка, отец моего отца. Завтракали, обедали и ужинали все вместе за одним столом. В переднем углу за большим столом обедали взрослые. Ели из общей глиняной чаши деревянными ложками. Ниже, за другим столом, обедали дети, пять человек, и бабушка Пелагея Ивановна. Часто нас, детей, утром кормили раньше. Готовила на всю семью бабушка, а мать и снохи помогали.

Ели всегда молча. Споров и препирательств между взрослыми я не слышал. Отец никогда не ругался, говорил всегда ровным голосом, и все его беспрекословно слушались. Какого-либо распоряжения он два раза не повторял. Когда он сердился, то хмурил свои большие густые брови, и тогда все замолкали. Но было это крайне редко.

За столом у каждого было своё постоянное место и своя ложка.

Старших в семье уважали. Дедушка мой всё время что-то делал, мастерил: чинил конские сбруи, подшивал сапоги или шил новые. Он умел делать всё. Если он был чем-то занят во дворе, а семья садилась за стол, то за ним посылали, и семья не начинала обеда, пока он не придёт.

Раз в год отец ходил в старообрядческую церковь к заутрене, но дома не молился. Дедушка при мне вообще в церковь ни разу не ходил и не молился. Мать посещала моленную на дому: ходила каждое воскресенье и праздники к обедне. Снохи ходили иногда – одна в православную, другая

в старообрядческую. Никто никого в иноверии никогда не упрекал и к своей вере не склонял.

Нас, детей, иногда тоже прогоняли в церковь – главным образом чтобы от нас отдохнуть.

Помню, часто по воскресеньям в доме были все, кроме матери; дед и отец лежали на русской печи, снохи убирались в доме и на кухне. Завтракать не садились до тех пор, пока не придёт из моленной мать, хотя она, по вере своей, питалась отдельно от семьи: имела свою чашку и ложку. Её никто не упрекал. Иногда отец ради шутки полезет своей ложкой в её чашку и скажет: «У тебя слаще». Мать промолчит, подождёт губы, возьмёт чашку и, уйдя к упечку, там доест. Отца она не ругала и вообще не перечила никогда.

Один раз (было это, помню, на Рождество) в воскресенье, ждали мать из молельни. Пришла. Снохи быстро накрыли стол, очень богатый – было разговенье после поста, и к тому же в доме был гость, «коновал» (сейчас говорят «зоотехник»). Отец оглядел стол и вдруг говорит:

– Грибов нет.

– Что, не наедитесь, что ли? – возразила мать. Она сидела рядом с отцом; тот вдруг сильно махнул рукой, мать упала с табуретки, и из носа у неё пошла кровь. Она ушла к печи, умылась, потом сходила в погреб, принесла грибы и поставила на стол. И всё это молча.

Всю жизнь потом я не переставал удивляться: сидели два её женатых сына, сидели две её снохи, сидел дед – и никто не сказал ни слова упрёка отцу, никто за мать не заступился.

Помню ещё один случай. Была Масленица, тоже воскресенье. Мать печёт сладкие пирожки и кладёт в большую корзину (семья-то 14 душ), посыпая сахаром, чтоб слаще было. Сели за стол, отец взял один пирожок, откусил, поморщился, потом взял всю корзину и бросил к порогу. Все в недоумении. Оказалось – мать вместо сахара сыпала соль... Посмеялись.

Иногда мать захочет всё-таки досадить отцу и начинает говорить что-то поперёк. Отец начинает хмурить брови. Мать встаёт, пытается к двери и продолжает говорить. Отец нашаривает на столе первое, что попало – буханку хлеба, плоску со щами... Мать уже взялась за дверную скобу. Отец швыряет буханку или чашку в мать, но та уже успела выбежать и захлопнуть дверь. Минут через пять она возвращается в дом и садится рядом с отцом. Инцидент окончен.

Отец был настолько же вспыльчив, насколько и отходчив. Повторяю: нас, детей, он никогда не наказывал. Зато помню, как нас наказала однажды старшая сноха Анастасия: мы часто обижали девочку Клавдию, она была одна девочка в семье, её все лелеяли, ласкали – и вот она заплакала с печки. Анастасия взяла полотенце скрутила его, залезла на печь и стала хлестать этим полотенцем всех без разбора – всех, кроме Клавдии. При этом моя мать пьёт чай из блюдца и на наш визг даже головы не поворачивает. Вторая сноха Вера тоже не обращает внимания, хотя в числе тех, кому попало, были два её сына.

Мне, конечно, не было больно, зато очень обидно; на мою обиду никто внимания не обращал.

Учился я очень хорошо и прилежно, хотя было тяжёлое и бурное время, 1919 год. Страшный голод. Ему предшествовала Октябрьская революция – осень семнадцатого, мне тогда было шесть лет; хорошо помню, что по селу проходили люди, много людей, с красными флагами, пели «Варшавянку», «Смело, товарищи, в ногу...» и «Вы жертвою пали...». События мне объясняла сестра; я, правда, ничего не понял тогда. Помню ещё делёж товаров из магазина Папулиных (вернее сказать, грабёж). Мне тогда, помню, досталась огромная сковорода, я её до дому еле донёс; мать меня за неё отругала

и велела нести обратно, но я не понёс, и сковорода эта долго у нас валялась, напоминая о грабеже, о «товарищах», как с насмешкой называл дед большевик: «Дожили товарищи: нет соли, спичек, ничего нет...»

Вернусь к первому году моего школьного учения. Весна, 1920 год. Уже сошёл снег, речка вскрылась и начала выходить из берегов, и, идя в школу, надо было делать большой крюк (почему и запомнилось). Школа располагалась на отшибе, она была типовая, церковно-приходская, выстроена напротив старообрядческой церкви.

В один из дней в апреле этого года, в самую распутицу, над селом неожиданно раздался колокольный звон, набат. Все ученики сразу же выбежали из школы.

Я увидел идущие по улице подводы, сани, запряжённые лошадьми, а на этих санях стояли гробы, обитые красным кумачом. Гробов было семь. Их сняли с саней и поставили в ряд возле церкви.

Как я узнал из рассказов, восемь человек коммунистов из нашего села отправились в соседнее, километров за пятнадцать, на хлебозаготовку. Возглавлял их один из наших учителей Андрей Андреевич.

В том селе против новой власти был заговор; как только раздался набат, весь народ сбежался на площадь к амбарам, где хранилось конфискованное зерно. Подобный случай описан у Шолохова, но я передаю события со слов очевидцев.

Коммунистов толпа прижала к амбарам, наступала на них, люди размахивали вилами, косами, ружьями. Особенно неистовствовал один молодой парень. Начальник продотряда, Андрей Андреевич, стал кричать, уговаривать, но толпа наступала, и тогда он выстрелил из нагана вверх голом; парень запустил чем-то тяжёлым в него, и Андрей Андреевич сделал второй выстрел в этого парня. Толпа обезумела и смяла коммунистов, началось избиение. Их тела были изуродованы до такой степени, что узнать потом невозможно было никого. Некоторых даже расчленили топорами – их потом собирали в гробы по числу человек и закрыли крышками.

Один из них спасся, успел убежать в поле, и его не добились. Это, кстати, был мой двоюродный брат по матери.

Гробы поставили в церковь. Очень много народу приходило поклониться погибшим. Возле каждого гроба рыдали матери, жёны, дети... Через некоторое время в село вошёл большой отряд красногвардейцев и с ними духовой оркестр. Я был в то время в церкви и хорошо помню, как вошёл командир в шлеме и его встретил священник в полном облачении. Меня очень удивило, что командир не снял головного убора и громко разговаривал в божьем храме. Он настаивал на том, чтобы погибших хоронили без отпевания и вообще безо всяких обрядов, иначе он забирал отряд и оркестр и уезжал. Священник и родственники возражали. В конце концов командир настоял на своём, и семерых коммунаров похоронили с речами и воинскими почестями возле церкви рядом с алтарём, там, где раньше хоронили только священников.

В 1930 году в селе организовывали колхоз, и назвали его именем Семи Коммунаров.

В день похорон нас, школьников, кормили в доме рядом со школой: каждому дали по миске жидкой гречневой каши и по куску ещё горячего ржаного хлеба. Вкус этого хлеба я запомнил на всю жизнь и всем своим ученикам всегда говорил: «Запомните, что вкуснее чёрного хлеба ничего на свете нет...»

Сейчас в Селитьбе – средняя школа, а тогда, в двадцать первом году, нас в старшем классе было всего семь человек. Большинство детей училось

только первые два класса, потом начинали работать, уже считали себя грамотными, потому что умели читать и писать.

Я уже говорил, что наш учитель Анатолий Николаевич учил все классы один; я не знаю, какая у него была зарплата, но семья у него была большая, детей много, а был голод, есть нечего – и тем не менее мать каждого ученика давала ему утром что-нибудь из съестного: блин, картофелину, лепёшку, кусок хлеба, свеклу, морковину – у кого что было; мы приносили всё это в школу и складывали на стол в углу класса, а позже через внутреннюю дверь, соединявшую квартиру учителя с классом, приходила жена Анатолия Николаевича и уносила все подношения... Так ценил народ учителя.

В селе почти ежедневно проходили всякие собрания, митинги, и перед началом их всегда посылали двоих ребятшек за учителем. Когда он входил в Народный дом, все вставали, и старики даже снимали шапки. Нам, детям, всё это было в диковину, и мы своим учителем очень гордились. На каждом собрании Анатолий Николаевич говорил, но содержание его речей я не помню. Зато ясно помню: учитель часто приходил к нам домой и разговаривал с отцом. Особенно памятный разговор произошёл тогда, когда я заканчивал школу. Нас кончало двое, я и мой племянник. Учитель предлагал отцу отдать нас учиться дальше, в пятый класс, в город. Отец говорил: «Если разум есть, и так дойдёт, а если разума нет – учи не учи, всё равно толку не будет...»

Всё-таки учителю каким-то образом удалось уговорить отца, и осенью нас с Саней отправили в мужскую гимназию № 1 в городе Павлово, причём Анатолий Николаевич сам отвёз все наши документы и сам привёл нас в первый день в эту гимназию.

Фактически у нас в доме под одной крышей проживало три семьи:

отец, мать, дедушка, бабушка, моя сестра Анна и я;

брат Иван, его жена Анастасия, их сын Саша (другой сын, Ваня, умер ещё ребёнком);

другой брат Фёдор, его жена Вера и трое их детей.

Работали и ели все вместе. Все женщины в семье ходили в одинаковых шубах, пальто, шальях, в одинаковых валяных сапогах – если что-то покупали, то брали сразу на всех. Раздоров ни по этому поводу, ни по какому другому никогда не было, все поводы для ссор были сглаживаемы.

...Я родился в старом маленьком доме; потом он вошёл в новый большой крытый двор, в котором была даже конюшня для лошади. В новом доме было два этажа: на первом прихожая, кухня и боковушка (так её звали), на втором большая комната и боковушка. Своя комната была у каждой семьи; два старших брата жили наверху, а отец с матерью внизу в боковушке. Печь стояла в зале на первом этаже, где на полатах спали бабушка с дедушкой.

Отец мой был неграмотный, но когда он был уже пожилым человеком, моя сестра Анна, которая одна из всего села по настоянию братьев училась в Павлово, выучила его рисовать свою фамилию в разных деловых бумагах.

Мать писать не умела, но хорошо читала по-старославянски Псалтырь и другие церковные книги. Братья Иван и Фёдор окончили только начальную школу, но грамоту знали хорошо и очень красиво писали. Дед и бабушка были неграмотны. Газет и книг в доме не было, о политике и международных отношениях не говорили, а работали с утра до ночи. Отец и дед знали великое множество ремёсел: кузнечное, плотницкое, шорницкое, сапожное... В хозяйстве была лошадь, корова с телёнком, несколько овец, свиньи, куры; мясо на обед было всегда – с осени запасали бочками свинину, говядину, капусту, огурцы, грибы. Хлеб, картофель, греча, пшено были свои, масло было своё. Много сеяли льна и ткали холст разного размера и качества.

Многочисленные посты в семье соблюдались строго. Постились 6 недель осенью, перед Рождеством, потом после Масленицы Великий пост (семь недель), и летом перед уборкой хлеба ещё две недели. Скоромного, то есть мяса, молока, яиц не ели и по средам и пятницам – не давали молока даже детям, за исключением больных.

Ели досыта, пока не наступил голод 1920–1922 годов. Голодали все, взрослые, дети, голодали весь год, особенно вторую половину зимы и весну, пока не поспевали овощи и картофель. Как берёза зацветёт, мы, дети, отправляемся в лес и обираем цвет, который потом несём к бабушке, она из него нам что-то готовила. Собирали и корни. Очень хорошо запомнилось, как дедушка уезжал куда-то далеко, за сорок вёрст, и привёз меру картофеля (это примерно полтора ведра). Он сидел на лавке и плакал, слёзы текли по белой бороде. Я узнал, что уплатил он за полтора ведра четыре золотые монеты по десять рублей... А старшая сноха Анастасия, указывая на нас, детей, говорила: «Ну что ты, дедя – так все называли дедушку, – их же надо спасать от смерти...» Съели лошадь, всех кур, осталась одна корова.

Не знаю, как нас тогда уберегли от смерти. В семье не было двух моих старших братьев: Иван был в плену в Австрии, Фёдор воевал в Красной Армии, потом служил в Казани. Держалось всё на отце и деде – они ковали топоры, а снохи Анастасия и Вера ездили в Мордовию (Саранск и Пенза) и меняли эти топоры на муку, пшено и рожь. Повезут по десятку топоров и долот, а продуктов обменяют совсем чуть-чуть... Железнодорожная станция была за 25 километров от нас, до неё ходили пешком. Ездили, пока не кончился голод.

В 1922 году мне было одиннадцать. Возвращается из австрийского плена мой брат Иван, грязный, в самом неприглядном рванье. Рванье это сожгли, и потому его встреча запомнилась. Потом он рассказывал, как был в плену, как воевал, как пытался бежать из плена и как наконец его освободили после перемирия с немцами.

Помню, как в один из весенних солнечных дней вся наша семья отправилась на огород за домом, где по указанию Ивана делали парники наподобие австрийских, виденных им в плену. Навоз на носилках таскали Иван с Анастасией и Фёдор с Верой, таскали с шутками, смеясь, балуясь, играя; остальные радовались, глядя на них, у бабушки лились по щекам слёзы радости и счастья... Это был самый лучший и радостный день нашей семьи.

Вот среди таких людей я и воспитывался пятнадцать лет. Здесь всегда в почёте был труд, здесь все трудились в меру своих сил, здесь не было обмана и ссор, все относились друг к другу равно предупредительно, здесь ко всем детям, чьи бы они ни были, относились одинаково ласково; здесь всегда были в большом почёте дедушка и бабушка, хотя при мне они уже не главенствовали в семье; здесь высоко чтили мать и отца; здесь старшие братья всегда были вместе и дружны, а их жёны относились друг к другу как сёстры.

Здесь сложился мой характер, моё трудолюбие, любовь к людям, презрение к лжи и воровству. Сохранилась вспыльчивость, но без мщения.

Чему не научила меня моя семья – так это сопротивлению к злу, несправедливости, лжи, приспособленчеству. Этого в семье просто не было. Я был избалован хорошими людьми, и потом мне это дорого обошлось в жизни. Много пришлось получить синяков и болячек. Я думаю, они меня не сломили – я остался на всю жизнь таким, как есть...

...Вернувшийся из плена Иван был тяжело болен туберкулёзом лёгких и вскоре умер в неполных двадцать восемь лет. В том же году умерла его и моя бабушка Пелагея Ивановна.

Через некоторое время к нам пришли сваты из соседнего села, я хорошо помню переговоры с ними; к Анастасии сватался некто Иван Сюртуков

из соседнего села (за 12 километров от нас). Сватовство было мирное; спрашивали, с кем останется сын Анастасии Александр, мой ровесник. Он сказал, что с дедушкой и бабушкой; на том и порешили.

С Анастасией наша семья была дружна долгое время: даже когда я был уже в Москве, заезжал к ее сыну погостить на два-три дня.

К тому времени отца уговорили отдать меня и Сашку учиться в Павлово (я уже об этом говорил). Через полтора года нас оттуда взяли: меня вернули домой, а Сашку определили в техническое училище; помню, отец сказал тогда: «Нам перед людьми будет стыдно, если мы его не выучим. Пусть учится, и наша совесть будет чистой перед ним, перед Богом и людьми, а потом уж как сам захочет...»

Вскоре отец тяжело заболел. Несколько раз его возили в город лечить: один раз даже в Нижний Новгород, и потом он рассказывал, как в больнице к его постели подходил профессор и показывал его студентам... Но ничего не помогло. Отец тяжело и долго болел, у него был рак толстой кишки. Умер он в мучениях осенью 1926 года.

Ещё при жизни отец выгнал мою сестру Анну из дома за то, что она единственная из всей волости вступила в комсомол. За это даже меня дразнили чужие ребята: «Косомол! Косомол!» Из-за этого Анна уехала в Павлово, где комсомольцы помогли ей устроиться на фабрику плановиком; к этому времени она окончила 9 классов средней школы.

Брат Фёдор стал председателем артели «Металлист», к нему ежедневно приходили люди, ели мясо в пост, курили, – по закону религии матери это всё воспрещалось, и, видимо, с её разрешения они отделились: заняли ещё одну комнату, забили гвоздями дверь и сделали свою русскую печь. Мать и все мы ходили к ним, а они к нам.

И мы остались втроем: я, моя мать и мой дедушка.

Фёдор жил недолго: заболел туберкулёзом лёгких, он долго болел и умер в 1927 году, когда ему было 32 года. После его похорон у его жены осталось три рубля денег и трое детей. Помню, она горько плакала: ей было только 28 лет, на руках было трое ребятишек. Но мать, которая вообще была оптимистка, говорила: «Не горюй, Бог не оставит нас в беде...» Вскоре всех троих детей взяли на воспитание их тётки, т. е. сёстры матери, а их у неё было пять сестёр. И осталась вдовая Вера одна. Потом ей купили сепаратор для переработки молока, и ежедневно после дневной дойки к ней приходили соседки перегонять молоко в сметану и обрат. С каждой она брала за работу кружку молока, у неё появилось масло, творог, стала продавать – этим и жила...

Так произошёл развал большой семьи Митюхиных, как нас звали в семье по имени деда.

Более подробно о некоторых членах моей семьи.

Мой дедушка Дмитрий Прохорович, как я его помню, был уже стар; большая белая голова, большая лысина и белые волосы по бокам головы. Волосы были лёгкие, как пух, и когда мы, дети, дули на них, они разлетались. Когда он был «в духе», в настроении, все пятеро правнуков лазили по нему, по плечам, своим пальцам. У него не было ни одного зуба, и мы совали ему в рот по очереди своей пальцы, чтоб он их откусил, и звонко смеялись, когда нам не было больно.

Память ребёнка удивительна: прошло уже 70 лет, я был совсем маленьким, но многие рассказы деда помню. Помню его живые, молодые глаза – они сверкали, когда он увлекался и показывал, как он орудовал на войне ружьём со штыком. Он воевал в Русско-турецкую войну 1877–1878 годов, освобождал Плевну.



Родился он в 1855 или в 1856 году, ещё до отмены крепостного права. Но его отец не был крепостным, потому что бежал в леса, – Селитьба никогда не знала барина.

Однако дед с большим почтением относился к памятнику царю Александру Второму, Освободителю. Памятник стоял в волостном нашем селе Баранове, мимо него часто ездили в город и на базар. Перед памятником дедушка всегда снимал шапку, и лицо его при этом делалось каким-то светлым.

– Пешком, – рассказывал он, – я прошёл всю Рассею. И дошёл до гор Кавказских...

Мы ахаем от восторга. А «дедя», как все мы его звали, продолжает:

– И пошли на турок за веру христианскую. Над болгарами турки очень издевались, отрезали уши, выкалывали глаза, а болгары ведь наши братья, с нами одной веры... В горах они были нашими проводниками, вместе с нами сражались... В горах снег лежал и летом, было очень холодно. И вот мы шли и брали Плевну, а потом её взяли и всю разорили, а нас всё гнали и гнали без отдыха к Царьграду. И вот однажды мы выбили турок из палаток, забежали в палатки, а там еда... Мы сразу на неё набросились, а офицеры бегали по палаткам и выгоняли нас плётками. Особенно лютовал капитан, командовавший нашим батальоном, орал, бил плёткой направо и налево, и мы решились с ним разделаться. Вскоре и момент настал подходящий: была редкая перестрелка, а он выехал на коне впереди нашей цепи. Вдруг он вздрогнул и упал с лошади. Его вытащили. Оказалось, что ему в спину угодила наша пуля. Было дознание, но никто не выдал того, кто стрелял в командира.

– Деда, а ты знал, кто его убил?

– Знал, деточки. Но здорово насолил нам тот капитан, и не стали мы своих выдавать. А потом всех офицеров, которые над солдатами издевались, убрали из нашего полка, не то мы всех бы их... А другие уж были потише.

Рассказывал дедушка о том ещё, как они обманывали турок:

– Нас было только человек пятнадцать солдат. Стояла скала, и вот мы беспрерывно ходили вокруг этой скалы, чтоб турки видели, что нас много, – а иначе нападут и вырежут всех... Много в том время погибло русских солдат за веру христианскую...

Рассказывал о море, как шумит оно и бьёт волны о прибрежные камни, и шум волн слышен за 10-15 вёрст. Как не дошли русские войска до Царьграда (Константинополя) 12 вёрст, потому что турки поспешно предложили «замирение». Как окончилась война и войска долго стояли в горах, а потом был устроен смотр, где перед войсками выезжал главный генерал Скобелев на белом коне. Много рассказывал о тяжкой службе солдата.

Дедушка был неграмотным, но очень умным человеком, ему было к тому времени около 70 лет, а память у него была как у молодого.

И что удивляло в нём: он всегда был чем-нибудь занят, что-то делал, всегда работал, хотя правая рука у него была парализована, не работала и висела плетью. Он работал одной левой рукой, но умел делать, мне кажется, любую работу: он смастачил однажды хомут и седёлку для лошади, сам шил сапоги, подшивал валенки, умел делать сани, телеги, рубил дом, в лес ездил один, сам валил дрова и сам, в одиночку, работая одной рукой, взваливал брёвна потом на телегу.

Помню, он ругался матерными словами на бабушку. При этом она всегда молчала, а как он уйдёт, говорила нам всем без него: посмотрите и посчитайте, сколько брёвен в стенах дома. Это всё он и привёз. Один. И столько же выпил чекушек вина. Привезёт бревно – чекушка...

До самозабвения любил дедушка лошадей. Днём иногда я видел его стоящим подле лошади, положив руку ей на голову. Ночью он четыре или пять

раз выходил к лошади, чтобы дать ей корму, погладить её. И боже спаси, если кто-нибудь из нас, работая на лошади, ударит её кнутом или она вспотеет от быстрой езды.

Отдыхал он днём очень редко. Спал всегда на печи. В баню ходил всегда первый (баня в каждом хозяйстве была своя, топилась по-чёрному). Он парился так, что из бани еле выползал; повалывается в снегу – и обратно. С ним никто никогда не парился, не выдерживали, он слишком сильно поддавал пару, так, что дышать было нечем. Затем он, уже не одеваясь, а только надев на голову тело тулуп, приползал домой, ложился на лавку и приходил в себя.

В 14-15 лет я уже самостоятельно пахал, обрабатывал землю. Под руководством деда косил сено. Хорошо помню, как мы хоронили отца. Было это в разгар осеннего сева озимых. Вернувшись с похорон, мы отобедали, и дедушка приказал всем ехать в поле. Я удивился: в такой день... И тогда он сказал: живой думает о живом. Отца не вернёшь, а нам жить надо. День год кормит, поедем... Отец был у него единственным сыном.

С этих дней мы добывали на жизнь тем, что вывозили из леса брёвна на лесопильню (или по подряду в город Ворсму, за 25 вёрст). Дерево толщиной в полметра надо было спилить, обработать, положить на сани и вывезти. Дед работал одной рукой, я, мальчонка, как мог ему помогал. И он, и я уставали до изнеможения, но чтобы дед жаловался на судьбу – я не слышал.

Прожил он долгую жизнь, почти 80 лет, пережил почти всех в нашей семье и умер только в 1934 году.

Он не молился, в церковь при мне ни разу не ходил. Похоронили его, как он завещал, по старообрядческой вере. В моленной отпевали старухи.

Светлая память тебе, дедушка Митюха!

С моим отцом Василием Митричем я расстался в 1926 году, когда я был четырнадцатилетним подростком. Фотокарточки отца не сохранилось. Но прошло более 60 лет, а я представляю его себе так, как будто расстался с ним вчера.

«В детстве мы сплетаем золотой клубок впечатлений, который потом разматываем всю жизнь», – сказал Пётр Ильич Чайковский. Это очень верно по отношению ко всем нам. Я помню многие моменты в мельчайших подробностях...

Я уже говорил о том, что отец долго и очень сильно болел. Причём не лежал в постели, а сидел на стуле, сидел и день и ночь, не вставая и не разгибаясь. Голова его лежала на руках, сложенных на столе. Изредка он стонал, когда терпеть было вовсе невозможно.

Когда отец стал умирать, народу набилась полна комната – это было в деревнях обычным явлением. Смотреть, как уходит от жизни человек, приходили многие. Я, повторяю, был ещё ребёнок, но уже много раз присутствовал при смерти, при последнем дыхании человека. По вере религиозной предполагалось видеть, как душа расстаётся с телом, как морщится умирающий, испив чашу горькую.

В деревне я видел много всевозможных болезней: в частности в каждом почти доме люди болели оспой, выживали редко, чудом выжил и мой брат Фёдор, он был потом рябым, это результат подживающих на лице струщев, которые очень чесались, до того, что больному связывали руки. На них было страшно даже смотреть. На моих глазах умирала от оспы красивая-красивая девочка, дочка соседей. поголовно косил людей тиф. Я тоже переболел брюшным тифом, и только самоотверженность матери, вышедшей меня, позволила мне выжить. Мать потом сама заболела, заразившись от меня.

Но я отвлёкся. Когда отец прекратил дышать, мать заголосила, с причитаниями («и на кого ты нас оставил...»). По покойнику стали читать Псалтырь, зажгли свечи, положили его на кровать, распрямили. Меня послали на почту давать телеграмму моей сестре Анне, его дочери, она жила в городе Павлово. Я даю телеграмму, возвращаюсь домой и с ужасом вижу: отец лежит на кровати с открытыми глазами и поводит ими. Он что-то хотел сказать, но язык уже не повиновался ему. Я подумал с испугом: «Как это я обманул Анну, послав ей телеграмму, что отец умер, а он ещё живой?..»

Через несколько часов, уже в беспомыслии, отец умер.

Мои первые воспоминания о нём относятся ко времени, когда ему было уже более пятидесяти лет. Он был среднего роста, коренаст, с окладистой рыжей бородой и чёрными густыми волосами, стриженными «под кружок», он мазал их маслом и расчёсывал на пробор, а когда чем-то бывал возбуждён, то обеими руками отбрасывал их назад, и они топорщились. За своей внешностью он очень следил, и мать часто подшучивала над ним. Помню, он один, наверное, из всего села ходил в яловых сапогах, – может, потому что его отец, а мой дедушка сапоги шил сам.

В армии он не служил, так как согласно закону в армию последнего сына, «кормильца», не брали, а отец мой был у своих отца с матерью единственным сыном.

Отец был человеком очень мягким, но вспыльчивым, скоро утихавшим. Спиртного он никогда не пил (болело сердце), не курил, никогда не ругался и вообще редко повышал голос – но слушались его все беспрекословно, и два раза ему никогда ничего не приходилось повторять.

Он всегда и всюду, если была возможность, брал меня с собой. Очень часто по воскресеньям или в праздник мы ходили с ним на родники: «кипячий», ближний к селу, «гремечий», вытекающий версты за две от села из стены оврага, или на бурный ручей, вытекающий из леса и впадающий в речку Павлинку. Отец садился и молчал, думал о чём-то: он вообще не был разговорчивым. Но иногда возле ручья он принимался вслух мечтать:

– Мы с тобой когда-нибудь перекроем этот ручей, сделаем плотину и водяную мельницу. Место уж очень подходящее...

Ходили мы по ручью и вверх в лес, искали и находили другие родники. О мельнице отец думал часто и уже приступил к осуществлению своего замысла – стал возить из леса длинные, метров по десять брёвна, «хлысты», занимался этим до самой своей смерти. Был 1926 год, время НЭПа, о нём не говорили, но частным предпринимательством заниматься было разрешено.

Брал меня отец с собой и в Саранск, Пензу, когда ездил меня на муку топоры и долота (поездки такие начались во время голода, о котором я уже писал, а потом отец уже пристрастился к таким путешествиям). Мне тогда не было ещё и шести лет. Иногда мать его упрекала: «Что ты таскаешь мальчонку бог весть куда!», на что отец ей отвечал: «Пусть привыкает, он мне помощник: отойти куда – так он покараулит товар или хлеб, да и на поезд лучше с ним садиться». Пассажирские поезда в бытность мою в тех краях не ходили, все ездили в товарных вагонах; обычно на станции отец договаривался с кондуктором, естественно, давал ему какую-то мзду, и тот устраивал нас в вагоне. С товаром отец возвращался не всегда: могли и отобрать по дороге, могли быть и другие причины. Но помню – один раз отец привёз целый мешок денег. Его вытряхнули на пол посреди комнаты, и все семейные уселись вокруг и стали разбирать. Помню даже мелкую деталь: когда кто-то постучался в дом, то деньги поспешно накрыли одеялом (какая всё-таки цепкая детская память! Видимо, это просто часть детского мировосприятия, которая сохраняется в нас на всю жизнь). Добавлю,

что деньги тогда были очень дешёвы, только-только вводился твёрдый курс («червонец»).

...Отец мой никогда меня не ласкал в понимании сегодняшнего дня. Ни разу не поцеловал, не гладил по голове. Но никогда и не наказывал. С ребёнком он всегда разговаривал как со взрослым, поверял свои мечты и мысли. Мы шли, он держал меня за руку и говорил: «А как ты думаешь...» Ни в чём меня не сдерживал, в разумном.

Хотя, помню, однажды послали меня за керосином в лавку, как тогда говорили. И я, держа деньги в руке, облил их керосином. Они как-то побелели. Отец сдвинул брови, но ничего не сказал... А как я испугался.

Он в душе по своему характеру был воспитателем, хотя был безграмотным. Не читал, не писал, а всё держал в уме. Почему-то каждый вечер, когда был дома и в здравии, ставил меня между ног своих и спрашивал одно и то же: «С кем ты сегодня подрался и кто кого одолел?» Я был большой драчун и задира в детстве. Удивительно, но когда взрослые видели, как мы дерёмся на улице кулачками, – никогда не разнимали, не ввязывались. «Сами разберутся». Сами и разбирались, конечно, палки или камни в руки не брали, а кулачонками, и то синяки были. Нас на улице что-то было много соседских детей.

И в одну из поездок он надорвался (как он сам говорил), грузил в вагон ящики с топорами, а они очень тяжёлые. Грузить надо было быстро, да ещё таскать к вагону, потом быстро разгрузить, ведь всё это делалось незаконно. Приехал и заболел. Через год мы его хоронили. И семья распалась окончательно.

Память моя об отце сохранила много светлого, радостного, благодарного. Для меня отец и мать были людьми непререкаемого авторитета, послушания и жизненного подражания. Я всю жизнь руководствовался их советами: а как бы поступили отец и мать в трудную горькую минуту. А таких минут ох как много было в жизни. Ну, о них потом. Чтобы не оставить белого пятна. После того как семья осталась без лошади, а она была основная кормилица семьи, отец долго где-то пропадал и однажды вечером заявился на серой сытой спокойной лошади. Привёз вдобавок большую бочку – литров 200-300 – льняного масла. Которое и ели досыта какое-то время. А лошадь дожила до организации колхоза, отца уже не было, оставался один дедушка и мать, но дедушка уже был беспомощен. Он её пустил на волю, в бесхозность. Куда она попала, не знаю. Дедушка колхоз не принял и умер единоличником, да его и не тревожили.

Моя мать Ирина Петровна, по-деревенски Орина, как её звали все.

Родила она меня, когда ей исполнилось 52 года – случай редкий. А всего она произвела на свет божий 7 человек детей, из них трое умерли в детстве. Причём одного я помню, его звали Петя. Когда он умер, мать не плакала. «Бог дал, бог взял». Отец взял гробик под мышку, полотенце через гробик и шею и так понёс в церковь на отпевание, а потом на кладбище. Рыданий и воспоминаний не было. А вот когда я родился – говорили, что радости у матери и отца конца и края не было. «За что меня бог порадовал», – всегда мать говорила, ведь все её дети были взрослыми, женатыми, имели уже детей своих. Была только одна дочь, и той уже было 8 лет, – моя няня, воспитательница.

Дедушка мой не воспринял меня и говорил, что когда матери пришло время родить, он её из дома выгнал в конюшню. Он в пылу гнева мне много раз говорил «ишь ты, из чулана вылез» или «поскрёбьш». Любил правнука, сына старшего брата Ивана, очень баловал его. Также любил и баловал Саню, он был мой ровесник и племянник, а я ему дядя.

Мать мне рассказывала свою историю. Вышла она замуж сама, самокруткой. Сосватал её дедушка. И вот пришла она одна в дом, в лаптях. Стою у двери, держусь за ручку двери. Дедушка стал торговаться за приданое. У меня ничего не было. Но жених должен был дать 10 рублей. Сторговались на 7 рублях, да и те деньги мне не отдали. И будущий свёкор сказал: «Полезай на полати (это полок, сделанный из досок близ потолка, а залазили на них с лежанки русской печи). Жениха в доме не было. Так и начали жить. Время от времени меня бил и свёкор, и муж, если что не по ним. Так вот прожила всю жизнь». В мою бытность все в семье мать уважали. Она обычно говорила, когда её обидит отец: «Вас семь, а я хозяйка всем».

Очень любила меня мать, всячески лелеяла. Жил я с матерью до 17 лет, а потом ушёл в люди, но об этом после.

У матери был брат, жил в том же селе, я его мало знал, но у него были дети, племянники матери. Один из них был в числе товарищей-коммунистов, погибших при восстании; тот, что чудом спасся. Он сбежал, его догнали, сильно били до беспамятства, а потом зарыли в снег, как убитого. Но он остался жив и больше ничем не проявлял себя, – работал кузнецом. А вот второй был горбатый, злой, но умный, стал коммунистом, руководителем в совете. Потом в районе. И он был ярый враг матери. Причину я не знаю. Но не классовый инстинкт, т. к. его отец не был бедняком. Он мать преследовал до самой её смерти.

И ещё была сестра Марья. Она мать звала «нянькой». Был у неё муж Василий, чёрный, хмурый мужик. Не слышал я от него ласкового слова, даже боялся, а его сын Павел был моим крёстным отцом. Будучи уже взрослым, 15-16 лет, он учил меня счетоводству, бухгалтерскому делу, досконально научил считать на конторских счётах. Он работал тогда главным бухгалтером в сельпо. И давал мне считать бесконечные годовые цифры отчётов, говоря, что здесь не сходится сумма в одну-две копейки и я должен найти её в ведомостях. Я сидел целыми рабочими днями и считал, считал. Счетоводом я не стал, но потом всю жизнь хорошо разбирался в бухгалтерских делах. Это мне в жизни помогало, особенно когда я стал директором школы.

Мать обладала сильным характером, была большой оптимисткой. На всё у неё был один ответ и взгляд: «Так угодно Богу, что Бог ни делает, всё к лучшему». Эта вера во всемогущего Бога и помогала ей жить и переносить все невзгоды. А их было много. Даже смерть двух взрослых сыновей, мужа, свекрови (все на моих глазах) она перенесла стоически. А впереди её ждали новые невзгоды.

После болезни её мужа, а моего отца, и смерти его остался я, малолеток 14 лет, её свекор, мой дедушка (около 80 лет), и она. Надо было кормиться, существовать. И она решила открыть в своём доме пекарню. Шёл 1928 год, в стране НЭП. Ей разрешили. Был у неё патент. Наняла пекаря – старика из другой деревни. В пекарне ежедневно, кроме воскресенья, испекали один мешок пшеничной муки, кг 60-70. Выпекали булочки, баранки, батоны – как сейчас их именуют. Помогали дедушка, сама она и я. Продавали тут же, баранки сдавали в магазин кооперации. Дрова заготавливали и возили из лесу с трудом, но сами, запрета на вырубку не было. Была, видимо, какая-то прибыль, т. к. сводили концы с концами. Продадут всё – и снова покупают мешок муки, 0,5 растительного масла, 1 кг сахара. И меня научил пекарь ставить тесто, его обрабатывать, делать плюшки, катать баранки, а это очень тяжёлый физический труд – делать баранки. Замесить муку с водой и промесать так, что тесто делалось как резина, а это килограммов 30 теста, и скатать, склеить силой эту баранку. И сейчас, когда ем их – вспоминаю тот труд. А ещё ведь надо было ежедневно заготовить примерно 0,5 куба дров, и дрова, и муку привезти.

Так всё шло до 1930 года, до организации колхозов. И тут круто всё изменилось.

Надо сказать, что до образования колхозов в селе организовалось «Товарищество по обработке земли», т. е. землю и скот не обобщали, а только помогали в обработке земли ещё простыми машинами, как то: сеялка, сенокосилка, жнейка. Давали крестьянам, кто вошёл в это товарищество. Беднякам, вдовам помогали обработать свой участок и лошадьми, их называли «советскими», т. к. эти лошади, две или три, числились по штату за Советами.

Хлеба в ту пору ещё жали серпами. Женщина брала левой рукой пучок ржи, сколько захватит, а правой резала серпом. Это тяжёлая работа, женщина была всё время в согнутом положении, срезать нужен был опыт и сила.

У соседей полосы ржи косили косилкой, запряжённой двумя лошадьми. Мать послала меня за разрешением к начальству, чтобы скосили и нашу полосу. Мне начальник (он же матери племянник, а мне двоюродный брат) ответил, что кулакам и их семьям помогать не будем. Здесь я впервые услышал это слово «кулаки», и мы причислены к этому ряду. Моя мать, не осознавая, что это такое, пошла сама к начальнику (благо родной), видимо, по-бабьи, по-деревенски накричала на него. Ему показалось обидно, и он приказал её посадить в «холодную», как делалось при старом режиме, а поскольку «холодной» не нашлось, то её заперли в большом сарае. Вместе с ней попала одной бабушки коза. И сидели несколько часов мать и коза. От голода коза бляела, по этим звукам её и нашла бабушка: ходила, упрашивала начальника: выпусти козу. Заодно выпустили мать. Похоже на анекдот, но это правда, чему я был свидетелем. И дальше пошло-поехало. Кончилось тем, что мать причислили к кулакам, лишили её гражданских прав, стала она лишенкой, не имела права выбирать в Совет. Матери было уже далеко за 60, она не обращала на это внимания, говоря: «Чай насрать». Это очень дорого потом обернулось для неё и особенно для меня. Отныне я стал преследуем: сын кулака, сын лишенки. Но об этом после.

Наш большой дом к началу 30-х годов опустел. Жили в нём 14 человек, теперь только 4 человека: мать, бабушка и я, во второй половине жила сноха Вера. На квартиру к нам поселился приезжий из Москвы, специалист по лесному делу Николай Александрович Доброхотов с женой и дочерью лет 5. Стало весело. Я уже взрослый, 15 лет. Н. А. взял меня к себе в помощники. Мы ежедневно ходили в лес, всё дальше и дальше. И глубоко в лесу (за 15 км) начали строить лесопилку. Начали около неё валить лес, свозить его в штабеля около лесопилки. Н. А. переехал с семьёй в деревню Бочиху за 7 км и меня взял к себе. Была у нас лошадь. Я принимал от возчиков лес, т. е. замерял кубы, составлял списки, ведомости. Всея этой премудрости меня научил Н. А. У меня в руках было клеймо, государственный знак. А потом было разрешено со склада отпускать лес на постройку домов, по ордерам. И стали приезжать с большой округи за лесом. Лес – это огромное богатство, никем не учтённое. И повезли Н. А. «подарки»: мясо, масло, муку; видимо, и деньги. И стал Н. А. ежедневно пить водку. Обычно был серьёзен, хмур. А как выпьет, то становился весел, разговорчив, шутлив. На «подарки» его жена смотрела с радостью, не сердилась, когда пил её муж, т. к. был ласков с ней. Я у них жил в это время, как член их семьи. А потом он стал приходить в лес на работу всё реже и реже. Я стал полновластным хозяином огромного богатства. Я принимал лес, я его и отпускал по запискам Н. А. Однажды подарили и мне перочинный нож с 12-15 лезвиями в нём. Я ещё не понимал, что это и мне «взятка». Приехал домой, показал нож матери, она мне это объяснила ясно. Это была первая и последняя в моей жизни взятка.

Ну а самое интересное и трагическое совершилось там, в лесу. Шёл 1929 год. Началась подготовка к коллективизации. И вот в деревню Бочиху, а лесопилка

строилась полным ходом от неё за 7 км, пригнали жить и работать священников (попов-церковнослужителей) всякого ранга, молодых и старых, со всего района, а начальником над всеми этими людьми поставили фактически меня (юридически Н. А.). Это был какой-то кошмар, нарочно придумать нельзя. Братья-священники жили в деревне, работать ходили в лес, за 7 км туда и обратно. Катали брёвна по 300–500 килограмм и укладывали в штабеля в 5–7 накатов в высоту. Денег им не платили и не кормили, спецодежду не выдавали, домой не пускали. Они многие, особенно старики, плакали. Осень, зима, весна, ростепель – это был какой-то кошмар. Естественно, я, юноша, не понимавший ещё смысла жизни, смотрел на это с каким-то ужасом. Я распорядился ими напрямую или по телефону (уже из лесничества провели телефон к строящейся лесопилке). Я на них не жаловался, хотя однажды дали какое-то распоряжение, и они не выполнили. Я сказал об этом лесничему, а он мне: «Заставь вычистить уборные (они уже были построены), кто не подчинится». Я не сделал этого. Для Н. А. и меня построили теплушку (домик), где была поставлена железная печурка, и лошадь у меня была. Они ко мне относились хорошо, ничем не обижали, и я тоже. Только один раз молодой попик спросил: «Молодой человек, скажи, плюс на минус – какой знак получается?» Я не ответил. Он язвительно улыбнулся. А другой сказал: «Ну что ты, он же не виноват, ты поблагодари бога за то, что у нас он, а не другой». Зимой ещё было легче. Дни маленькие – пока придут в лес, разберутся, поработают час-другой – начинает темнеть. Отпускал домой. И невыносимо было смотреть весной, когда стал таять снег, вода. Они в валяных сапогах, в лаптях, мокрые, посушить обувь-одежду негде. Я не выдержал этой пытки, несправедливости – и убежал в г. Павлово, где жила моя сестра Анна. И больше я в деревню не вернулся.

А кончилось дело с сосланными попами так: началась сплошная коллективизация, ежедневно шли собрания до позднего вечера. Никто не работал. Резали скот, ели, пили самогонку, отпускали лошадей прямо в поле. Иногда привязывали бирку «Не хочу в колхоз». Вечером все записывались в колхоз – наутро шли выписываться. Стон, плач раздавался по деревне. «Кто за Советскую власть – поднимите руки». Все поднимали. «Кто против? Нет, единогласно. Все вы теперь колхозники». (Всё это я видел и слышал своими глазами и ушами.) Хорошо это описал Шолохов в «Поднятой целине». Так это и происходило в лесной деревне Бочихе, откуда не было и дорог в уезд и волость, да и сейчас нет, через 50 лет. Вышла статья Сталина «Головокружение от успехов», дутый колхоз в Бочихе сразу распался, остались 5 комсомольцев без лошадей и коров. Родители их не согласились. В развале колхоза обвинили живших в Бочихе священников, и началась над ними расправа. Кого в тюрьму, кого в Сибирь, кого отпустили домой (стариков и чины благочинные и пр.). Колхоз там организовали только спустя два года.

И снова о матери... Я ушёл в город. Дедушка умер. Осталась одна. Ушла в другую деревню в няньки. Её не выслали, но дом её (мой) заняли жильцы – соседи, молодая семья, во второй половине осталась жить внучка Веры Николаевны. Я был там в 1985 году вместе с сыновьями Евгением и Виктором, навестили могилу матери.

Видеть чужое горе невыносимо. Я ещё не был защищён ничем от зла. Впервые в жизни столкнулся, видел, участвовал в свершении зла, издевательствах над грамотными, умеющими людьми. И ничем не мог им помочь. Полное бессилие. Это был первый стресс молодого, не окрепшего физически и морально человека. Эта несправедливость не оставляла меня всю жизнь. Этот был стресс номер один. Потом их будет много, ещё раз повторяю. Это была правда виденная и слышанная.

Осталась у меня ещё одна опора – моя сестра Анна Васильевна, она была старше меня на 8 лет, моя няня, воспитатель, опора.

И наконец я – Рубанов Константин Васильевич.

Родился в 1911 году 15 сентября в селе Селитьбе. Убежавший от видений ада в лесу, от организации колхоза в деревне Бочиха. От самодурства, от бесчинств. В 1930 году мне было 18 лет. Мать предлагала мне жениться и жить в семье. Находились и невесты. Любил я Анфею две недели, много годов не забывал Елену из Бочихи. Жизнь пошла бы по-другому: работать физически, есть, спать, плодиться.

Павлово-на-Оке.

Там жила моя сестра Анна, у неё был муж Александр Александрович, родился только что Валерий (он сейчас живёт в г. Горьком, кандидат физико-математических наук, дважды лауреат Государственной премии). Мой зять меня признавать не хотел. Он был член партии, работал в это время на заводе им. Марасанова (было модно давать имена рабочим), потом его переименовали – им. Сталина) – парторгом. Достаточно было ему сказать слово, и меня бы устроили учеником токаря, а так хотелось. Устроился сам на этот завод чернорабочим, подметать в цеху, убирать металлические стружки, таскать полуфабрикаты. Завод вырабатывал замки всевозможные, ножи, ложки, были ещё и тяжёлые какие-то валы.

Потом перевели в кузницу. Я поднимал молот через шкивы, мастер делал поковки. Работа тяжёлая, изнурительная, однообразная. И жарко, и холодно. Питания не было. Вставать рано по гудку – очень хорошо описано Горьким («Мать») в начале книги. Меня приняли в союз металлистов, хотя я уже был член профсоюза с 1927 года, когда работал в лесу. Это был первый мой документ, членский билет, я был очень рад ему, он мне потом помог в жизни.

Устроился я учиться в вечернюю школу, был экзамен, 4 правила арифметики, сумма, вычитаемое, слагаемое, разность. Я что-то лепетал. Не учился 6 лет, забыл все определения, но меня приняли – учился.

Вернусь назад, в 1923–1924 год. Когда меня отдали учиться в город в 5 класс, был НЭП. В магазинах, на базаре появилось огромное изобилие всего-всего. Я любил ходить по базару: тысячи людей, кто продавал, кто покупал. Базар был по понедельникам и пятницам. А до этого был голод. Я был в гостях у сестры. Если сестра покупала тыкву и варила из неё кашу – на свете вкуснее ничего не было. Ходил по базару, но ничего не покупал – денег у меня не было. Почему вспомнил 1923 год – разбил стекло в школе, надо было уплатить 75 копеек, у меня их не было, а сказать дома боялся.

И вот 1924 год, только что кончились каникулы, мы были в деревне, а потом нас привёз дедушка на санях, сделал кибитку. Стояли очень сильные морозы, к тому же ветры, вихри снега в поле. И вот 24 января рано утром на рассвете мы прибежали в школу. В школе выставили портрет В.И. Ленина с траурной чёрной лентой. Около портрета толпятся учащиеся, подходят и учителя. Я не знаю почему, но до того времени не слышал ни разу имя Ленина. Может, и говорил когда, но я не помню. Газет ещё не читал. И здесь впервые услышал имя Ленина и увидел портрет. Учёбу отменили, чему мы, ученики младших классов, были рады, пошли гулять. Дальше помню день похорон, митинг на площади, сотни людей, мороз страшный. Мы, дети, плевали – на землю падал уже ледок. В Павлове было несколько фабрик, артели, семь церквей, и вот вдруг (для нас, конечно) разом загудели гудки фабрик, зазвонили на церквях колокола. Ощущение для детей было потрясающее. Наверное, ещё больше для взрослых. В это время, оказывается, опускали тело В.И. Ленина в Москве. На площади оборудовали монумент Ленину в виде пирамиды,



высокой, и сделали металлическую решётку (в городе всё делали из металла), установили по углам электрическое освещение. Уже после митинга, когда народ стал расходиться, кто-то ухватился руками за решётку, отодрать руки не мог – закричал. За ним ухватился другой, и он пристал, и ещё, и ещё. И я пристал. Потом нас отодрали, мы упали, покатались. До сих пор не пойму, наверное, мы были в снегу, в инее, и через руки пошёл электрический ток.

Но снова вернусь в 1930 г. Я работаю и учусь в вечерней школе. Приезжает из Селитьбы Александр, мой брат. Карантин. Он живёт со мной вместе на кухне. Я на деревянном топчане, он под топчаном на полу. Потом он устраивается избачом в деревне Тарка, 3-5 км от города. Я перехожу работать в артель, снова чернорабочим, убийственная работа, не так тяжела, как бесперспективная, нет нормы, нет конца, нет удовлетворения сделанному. Прочитали объявление: в Нижнем Новгороде принимаются юноши в военную школу. И мы с Сашей махнули в эту школу. Нас приняли. Кормят отлично. На мороз выгоняют без рубашки утром на физзарядку. Нам нравится. Дисциплина, красный уголок, оружие. Школа в кремле. Форма. Первый раз в жизни увидел трамвай, автомашины легковые. И в первый же день, когда нам дали увольнительную в город, мы с ним решили прокатиться на трамвае от площади Горького (сейчас) до кремля. Показалось чудом: очень быстро. Всё казалось интересным. Выпускались старшекурсники уже командирами взводов: два кубика на воротнике. Новая форма, молодость, красота. Ничего не предвещало беды. Но вот (не забывал потом никогда) мне приснился очень беспокойный, страшный сон, я метался, было мне плохо. Я не помню этого сна, но плохой, плохой. Говорю Саше об этом сне, говорю: что-то со мной должно случиться. Он посмеялся, ответил, что я объелся на ужине.

В середине дня, только что мы вернулись с какого-то учения, меня вызывают к начальнику школы. Сердце ёкнуло. Закралась тревога. Прошло 56 лет, а помню словно вчера было. Начальник спрашивает, откуда я прибыл, где учился, где работал (а меня приняли как рабочего), кто отец, кто мать. А потом говорит: пришли документы из Селитьбы, где сказано, что твоя мать из кулаков, что она лишенка. Это подтверждает и курсант Лоскутов из вашего села. Мы вынуждены вас исключить из школы. Всё помертвело, черно в глазах стало. Не помню, как вышел, как сдавал я форму, как надел какую-то гражданскую одежду. Это был стресс номер два. А мне было только 18 лет. И вот я второй раз почувствовал лично, что это такое – лишение прав родителей. (Что такое стресс, узнал позднее.)

Это день в жизни, когда вдруг всё потемнело и изменился привычный мир – стал несправедливым, жестоким, и как ни повернись – он бьёт тебя. Так у Ахматовой: «И упало каменное слово на мою ещё живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь...»

После изгнания в неурочное время я вышел из училища, кремля. Что делать? Куда податься? В деревню – мать где-то в бегах, к сестре – муж её боится соприкасаться с чуждым элементом. Как оказалось, он уже имел объяснение с властями, что женат на дочери кулачки. А тут я – живой деверь. Я поехал в Богородск (Горьковской области), где жила моя бывшая сноха Анастасия. Они приняли меня радушно. Я всё им рассказал. Я прожил у них с неделю, пришёл в себя, немного оттаял. У меня оказалась какая-то справка из села, кто я, откуда я. Имущества никакого. Денег нет, дала Анастасия.

И я подался в Москву-матушку.

Я считаю деда Константина великим человеком, и одновременно знаю, что таких, как он, были – сотни тысяч. Они, крестьянские дети, и создали мир, в котором я вырос. Новую страну построили.

Из повести деда видно, как тяжело ему давалось соприкосновение с несправедливостью, и не только по отношению к нему самому, но и к другим.

Не знаю, справедливо ли обошлась жизнь с моим дедом.

Его сокурсники по историческому факультету МГУ, те, с кем он учился в 1934 году, потом стали руководителями высокого ранга, некоторые дошли до министров. Впоследствии, в 1962 году, когда дед добивался строительства большой школы в селе Узуново – он ездил в Москву, ходил на приёмы к бывшим сокурсникам, они вспомнили его и помогли.

Очень мало общего у судьбы моего деда и протопопа Аввакума; дед стал профессиональным педагогом, в общем – рядовым учителем, Аввакум же – духовным учителем и великим писателем. Но сходство есть.

Оба – твёрдые характеры, оба человека великого терпения, «длинной воли». Оба твёрдо следовали своему предназначению, призванию.

Ведь каждый из нас для чего-то призван. Мы не просто так являемся в наш маленький опасный мир, нас сюда приводят для выполнения совершенно определённой задачи. А уж какова задача, велика она или скромна – неважно. Главное – понимать своё призвание, тогда жизнь становится легка, путь – прямым, дух – крепким.

Чтоб человек нашёл свой путь, в детстве и отрочестве ему необходим учитель, педагог, тот, кто умеет развить ребёнку кругозор, обеспечить условия для всестороннего развития.

Поэтому детям нельзя отказывать, если они хотят заниматься спортом, играть на музыкальных инструментах, рисовать, петь, танцевать, драться; в любой семье часть бюджета, и часть общего семейного ресурса, следует выделять на развитие ребёнка, на поиск призвания. Следование своему призванию и есть условие счастья.

Большая ошибка современной России – резкое падение статуса школьного учителя. В СССР все получали примерно одинаковые деньги – и школьный педагог, и инженер, и механизатор, и профессиональный военнослужащий, оклады отличались на 10 рублей, на 30 рублей. В систему образования шли думающие, сильные, инициативные люди. Вдобавок учителя имели мощный бонус: три месяца летних каникул; в это время педагоги тоже работали, но не с детьми. Труд учителя не предполагал возможностей обогащения – но позволял жить сравнительно комфортно. Через развитую систему школьных библиотек педагоги имели свободный доступ к новым книгам, свежим журналам – это было ценно и важно. Педагоги активно подрабатывали репетиторством, натаскивая детей для поступления в высшую школу.

Дед собрал огромную библиотеку из нескольких тысяч томов. Когда его внуки – мы – подросли, на день рождения он обычно позволял нам в качестве подарка взять любую книгу из его библиотеки. В итоге к началу 80-х внуки растащили всё самое лучшее.

Дедушка Костя жил долго, умер в 1996 году, в возрасте неполных 85 лет. Я тогда фигурировал в образе финансового гения, деньги вываливались из карманов. Я поставил ему на могиле большой гранитный камень. Над могилой растёт яблоня. Мать, когда увидела, заплакала и сказала: «Как у Довженко в фильме “Земля”».

После смерти деда ничего не осталось, только тесная, сырая квартирочка в двухэтажном «учительском доме», в ста метрах от школы, на первом этаже. Потом родственники как-то распорядились этой квартирочкой, я не участвовал, сидел в тюрьме. В той квартирочке я, собственно, вырос, детство в ней провёл, 12 лет, но она бесшумно исчезла, в тайный мир канула. Никакого сожаления на сей счёт я никогда не испытывал.

Дедова библиотека была тогда уже наполовину растащена детьми и внуками, куда делась вторая половина – не знаю.

От деда у меня не осталось ни сувениров, ни памятных вещиц, вообще ничего, только его рукопись. Кроме книг, дед ничего не собирал, ни икон, ни картин, ни редкостей. Остался минимальный архив, вырезки газетные, фотографии.

Остались 2 тысячи деревенских детей, выученные им с малолетства и отправленные во взрослое плавание. Сейчас у них у всех взрослые дети и внуки. Вся память о нём осталась в людях.

А моя, его внука, заслуга в том, что я убедил его оставить Завет, письменное свидетельство.

## Напоследок

Изучая историю, мы видим, что наши предки жили трудно. Мы, их потомки, – изнеженные существа, выросшие в комфорте. Изменился даже климат – зимы стали мягче. Но мы унаследовали от предков их набор качеств, их гены. Поэтому в будущее нам следует смотреть со спокойным оптимизмом. Если предки прошли через испытания и не только не сломались, но восторжествовали – значит и мы сможем, и дети наши смогут, и дети детей.

Понимание прошлого – снимает страх перед будущим.

Гибель огромной советской цивилизации дала нам огромный материал для изучения: мы подобрались к пониманию исторических закономерностей, ранее неизвестных. Например, мы убедились, что идеология не является стержнем цивилизации: идеологии меняются, а цивилизация остаётся. Из-под России дважды за сто лет выдёргивали, кажется, самый её фундамент – а Россия осталась.

Мы убедились, что сущность капитализма не изменилась: в основе этой системы лежит эксплуатация человека человеком; путём обмана и манипуляций капиталист заставляет наёмного работника трудиться всё больше, за всё меньшие деньги.

100 лет назад в моей стране эксплуататоров расстреливали. А теперь они – вот, появились откуда ни возьмись, те же самые.

Даже я, писатель и киносценарист, взрослый, опытный, чувствую давление системы. Инфляция пожирает мои доходы. Мне говорят: ты свободен, делай что хочешь! Но я ничего не делаю; я работаю, пишу, каждый день по 10 часов, без перерыва.

В современном мире человек поработан со всех сторон: ему диктуют потребности, стандарты потребления, моду, вкусы, ему навязывают пошлую, плоскую массовую культуру, ему навязывают мораль, а чтоб не чувствовал себя обманутым, – отовсюду гремят лозунги «свободы». Ты свободен, друг, выбирай между телефоном той модели и телефоном этой модели, выбирай между просмотром этого сериала и того сериала, условие одно: покупай, потребляй во что бы то ни стало. Как только человек отказывается покупать, потреблять – он становится врагом общества.

Но, по крайней мере, новый русский капитализм – а ему, слава богу, уже 30 лет, не так мало – избавил нас от нехватки продовольствия; эту заслугу мы отметим. Мясо, масло и фрукты – каждый день на наших столах. А возле наших домов стоят наши автомобили. За это мы благодарны новому русскому капитализму.

Мы мыслим взвешенно, мы – умные, мы – практики. Русский капитализм дал нам жратву, и благодарность наша велика.

Так или иначе – другой жизни у нас нет и не будет, – ничего не остаётся, как жить эту, удовлетворяться сегодняшним днём. Так жить, чтобы наши правнуки, читая наши дневники и разглядывая наши фотографии, говорили друг другу: вот были люди, настоящие исполины!

Наша цивилизация – русская – несовершенна, как и любая другая, у неё множество недостатков. Но она даёт нам сверхсилу, возможность исполинского, титанического способа существования. Если посмотреть на тех, кто критикует нашу страну, на профессиональных русофобов – тут же обнаруживается их сходство, общее определяющее качество: все они – люди небольшого масштаба. Это видно любому наблюдательному человеку. Иногда их занятно слушать, но идти за ними – совершенно не хочется. Они могут быть политиками, публицистами, писателями, могут даже получать Нобелевские премии, – но от этого не превращаются в значительные фигуры; их деяния мизерные, а часто смехотворные. Любой враг России превращается в ничтожество. Так работает противоречие между большим и малым. Примыкая к большому делу, ты сам становишься больше; отрицая большое, ты умаляешься.

Но как поступить, если большое или великое дело кажется тебе ошибкой? Как быть, если ты – один, а против тебя – тысячи? Как быть, если все вокруг просят тебя сдать, но ты не хочешь сдаваться?

Как надо было поступить протопопу Аввакуму в заведомо проигрышной ситуации, когда церковная реформа уже была успешно проведена, а он сам объявлен преступником, осуждён и отправлен на верную смерть?

Ответ один: принять её, смерть.

Кто умер за свои убеждения, тот их отстоял. На миру смерть красна – такая у нас есть поговорка; тоже часть русского культа смерти.

Любое противостояние, доведённое до логического конца, предполагает физическую гибель одной из противостоящих сторон.

Вступая в дискуссию – любую, – ты должен быть готов умереть за каждое сказанное тобой слово.

Если не готов – тогда ты – демагог, словоблуд, извергающий пустоту, смешанную со слюной.

Таков урок, преподанный нам Аввакумом.

Ему было легко: он очень сильно верил в Бога, в загробное существование, в Страшный суд, в рай и ад; уходя в огонь, он шёл напрямиком в лучший мир.

Нам, материалистам, гораздо труднее. Мы верим в Бога меньше или вовсе не верим. Мы подозреваем, что после смерти не будет ничего. Умрёт мозг, умрёт сознание, умрёт «я». Смерть неотменяема, неизбежна. Человек может выбрать только способ ухода. Умереть ли в бою, сгнить ли в тюрьме, либо мирно почитать в своей постели.

Аввакум был христианином, но смерть принял – языческую, огненную. Он не был погребён, его прах не предали земле. Нет его могилы, и даже место его сожжения известно лишь приблизительно.

Исчез с лица земли и сам город Пустозёрск.

Исчезла могила его жены Анастасии Марковны; я искал следы и не нашёл.

Так работают законы Истории, Времени и Памяти. Следы исчезают. Время всё стирает.

Мы – охотники, идущие по следам, но часто след может пропасть.

От Аввакума тянется один несомненный подтверждённый след: его сочинения, его «Житие», его челобитные, его «писанейца». Физически человек исчез напрочь, остался только в записанном слове.

В большой игре ставка одна: жизнь игрока. Аввакум отдал жизнь – но выиграл. Ты либо играешь в эту игру, либо нет. Выбор за тобой.

Свой главный диалог ты ведёшь со смертью: она твой противник, твой оппонент.

Женщинам сильно проще, они преодолевают смерть, созидавая новую жизнь, рожая детей. Мужчины лишены привилегии деторождения – их диалог со смертью прямее. Мужчина всегда готов умереть – женщина не всегда, она отвечает за потомство. Мужчина то ли есть, то ли нет его, сегодня он надёжный, любящий муж и отец, а завтра погиб в бою, на охоте или просто исчез неизвестно куда.

Любить жизнь, наполнить её – можно только при условии диалога со смертью.

Диалог со смертью ведут и целые народы, и государства, и цивилизации.

Вооружая свою армию, расходуя на её содержание огромные средства – государство ведёт диалог со смертью.

Русская литература, в основании которой стоит Аввакум, имеет своей главной темой именно диалог со смертью.

Но было бы неправильно заканчивать книгу на такой мрачной ноте. Всё-таки литература – это в первую очередь разговор живых с живыми.

Пройти по пути героя может каждый, без исключения. Сверхсила – повсюду, её просто надо уметь обретать. Нам всем дан рассудок, аналитический разум. Каждый, кто трезво обдумывает свои ближние и дальние цели, кто умеет понимать свои сильные и слабые стороны – уже становится сильнее. Каждый, кто желает учиться – идёт по пути обретения сверхсилы. Каждый, кто изучает историю своей семьи, становится сильнее: мы обязаны помнить своё родство. Каждый, кто влюблён – становится сильнее. Каждый, кто родил ребёнка и растит его – гарантированно получает силу, потому что дети – один из надёжных её источников.

Изучение биографий героев гарантированно добавляет сил. Если они прошли через ад и не сломались – значит, и мы сможем. Положительный пример работает всегда.

Любой, кто читает «Житие протопопа Аввакума», заряжается и от самого Аввакума, и от тех, кто опубликовал его книгу, и даже от тех, кто её просто прочитал. Так работает любое настоящее искусство: это всегда прежде всего круговорот энергии. Любая хорошая книга – это аккумулятор, заряжающий читателя.

Любое искусство – это система традиций. Я всецело принадлежу к отечественной литературной традиции и в любой момент, когда захочу, подпитываюсь от неё энергией. В этом смысле я счастливый человек, благополучный, укоренённый, закорённый. Мой путь ясен, мне хорошо.

Все мы ходим по крепчайшей, неуничтожимой, непоколебимой пластине, спрессованной из праха наших предков; когда нас не станет, мы сами будем частью этой пластины, укрепим её собой.

Больше знать, больше помнить, шире смотреть, твёрже ступать, жарче любить.

Брать всё, но отдавать больше.

Знать меру во всём, кроме любви; в любви же меры нет.